Литературніе портреты

Георгий Иванов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

публикуются по газетам «Дни» и "Последние новости". 1925, 1926, 1927, 1929, 1930 годы.

- Георгий Иванов
  - БЛОК
  - ГУМИЛЕВ
  - МАНДЕЛЬШТАМ
  - ФОФАНОВ
  - АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

Георгий Иванов
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
Китайские тени

БЛОК

Весной 1921 года я пришел на вечер Блока в Малом театре. Зал был переполнен. Чуковский читал доклад. Извиваясь, как вьюн, раскланиваясь и улыбаясь, размахивая своими длинными руками, — он доказывал, что Блок — великий поэт.

Выходило это у Чуковского плохо — хуже нельзя. Все было как-то некстати. Цитаты неудачные, восторги деланные. Может быть, Чуковский ничуть не лукавил, но он взялся не за свое дело, и оно не выходило. Дело Чуковского, его призвание, весь смысл его писаний — ругать, уничтожать. Тут у него редкий дар, удивительная находчивость. Если бы надо было Блока, да что Блока — Пушкина, Толстого — стереть в порошок, он бы это невозможное сумел бы, вероятно, проделать, и не без блеску. Но полтора часа подряд восхищаться, восхищаться обстоятельно, серьезно, умно, с ссылками на «Символизм» Андрея Белого… и получалась какая-то вялая каша, не прибавлявшая лавров лектору, не говоря уж о Блоке, для которого в этом «признании» болтуна Чуковского было что-то оскорбительное.

После доклада Блок «иллюстрировал» его своими стихами. Он читал не особенно долго. Бледные, жуткие, смутные стихи последних лет — читал явно охотнее, чем ранние, более прославленные. — "Шаги Командора!", "Незнакомка!", "Итальянские стихи!" — кричали ему из публики. Блок кланялся, улыбался холодно-рассеянно и своим удивительным голосом, деревянным и колдовским в то же время, читал "Жизнь моего приятеля" или страшное:

…Все бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.
Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны:
Он с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.
Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается…

Блок был еще очень популярен. Я говорю «еще», подразумевая

не его посмертную славу, а то более страстное чувство, ту "любовь к Блоку", которая, все возрастая, к 1910–1915 годам стала исключительной: мало кто из поэтов, за все время существования русской поэзии, был так любим при жизни, как любили Блока. К 1918 году в этой «страсти» публики к поэту обозначилось некоторое охлаждение. Причины были разные, — но Бог с ними. Все-таки и в 1921 году Блок был очень популярен. Ему очень много хлопали. Когда вечер кончился, Блок с трудом протискался через приветствовавшую его толпу молодежи. Ему жали руки, бросали под ноги цветы, глядели на него влюбленными глазами. Но, несмотря на полный зал, вызовы, влюбленные взгляды, — чувствовалось в этом вечере явное отчуждение, — взаимное, — аудитории от любимого поэта, поэта от аудитории. Казалось, весь этот шум и восторг по привычке — прежнего «контакта» уже нет. Так и было. Еще аплодировали, бросали цветы (через две недели повторение этого же вечера в Москве, более «передовой», — было встречено уже вполне холодно). Но войди в этот зал Маяковский, — о Блоке бы все забыли. И это чувствовалось.

Чувствовал, казалось, и Блок. Он слушал вздорные похвалы Чуковского, потом читал стихи, потом протискивался через хлопающую толпу с видом измученно-безразличным. Впрочем, это было не новое для него выражение. Я помню другое блоковское «торжество» — в 1913, кажется, году, — постановка Мейерхольдом «Балаганчика». Тогда было не так пышно, и народу поменьше, но суть та же: Блок смотрел, как его искажают, и видел, как радуется от души этому искажению публика. «Балаганчик» ставили в духе "Комедиа дель арте", — актеры прыгали с приклеенными носами, Мейерхольд сиял, публика хлопала. Как же она могла не хлопать — ведь она была избранная, передовая, культурная, сочувствующая всяким исканиям и новаторству.

Блок глядел вокруг с тем же каменным скучающим лицом. «Ущерб» Блока уже начался — странный, болезненный ущерб, озаренный в 1918 году зловещим блеском «Двенадцати», в 1921 — Смертью…

Должно быть, этот ущерб и начался с равнодушия, с презрения к жизни и к людям, которое все явственней слышится в разговорах Блока последнего, «закатного» периода.

…Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, начнется все сначала,

И повторится все, как встарь:
Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь.

Скука — что опасней этой темы. Поэту очень скучно… Как бы читателю не стало еще скучнее! Но именно только говоря о скуке, безнадежности, бессмысленности, страхе — Блок достигает "ледяных вершин" поэзии. Если из собрания Блока вынуть несколько десятков таких «стихотворений», — мы не узнаем самого «мучительного», чувствительней всех ударившего по сердцам поэта нашей эпохи. Если их отнять, останется что-то вроде Полонского…

x x x

…Была весенняя, теплая, петербургская ночь. Несколько человек шло по Екатерининскому каналу, возвращаясь с блоковского вечера. Далеко впереди, окруженный хохочущими студистами и студистками, Чуковский. За ними — тихо переговаривающиеся Блок и Гумилев. Я шел сзади с В. Зоргенфреем. Спутник мой был не из словоохотливых. Кругом было тихо. Обрывки разговора шедших впереди долетали до меня.

… - Нет, Николай Степанович, союза между нами быть не может. Наши дороги разные…

— Значит, либо худой мир, либо война?

— Худого мира тоже быть не может…

Гумилев тихо засмеялся.

— Вы, я вижу, совсем не дипломат. Что ж, мне так нравится. Война так война…

Рев студентов на какую-то шутку Чуковского заглушил ненадолго этот разговор. Потом снова донесся смеющийся голос Гумилева:

— Какие же ваши рыцарские цвета для нашего турнира?

И серьезный Блока:

— Черный. Мой цвет — черный.

…Была теплая петербургская ночь. Все мы шли на Литейный в "Дом поэтов", только что начавший устраиваться хлопотами Гумилева.

Меньше чем через четыре месяца, с эстрады этого же "Дома

поэтов", буфетчик, которому «Дом» был отдан на откуп, извиняясь перед посетителями за какой-то изъян в программе, простодушно заявил:

— Программа не выполнена, так как произошло три несчастья — арестован Гумилев, умер Блок — и… перегорело электричество.

x x x

Познакомил меня с Блоком — Георгий Чулков в 1910 году.

Чулков имел обыкновение время от времени открывать какой-нибудь "новый талант", возиться с ним, водить его по знаменитостям, читать всем, кому попало, его стихи, предлагать эти стихи в журналы и т. п.

Действовал он не совсем бескорыстно: обласкав новичка и «введя» его в литературу, Чулков начинал наставлять его в истинах "мистического анархизма", Чулковым изобретенного. Тут обыкновенно наступало между сторонами неизбежное охлаждение: на "мистический анархизм" находилось немного любителей. В 1910 году настала моя очередь ходить с Чулковым и слушать его толки о "Покрывале Изиды". Пришли мы к Блоку под вечер. Жил он на Монетной около лицея, в шестом этаже большого модернизованного дома.

Просторный кабинет. Очень светло — окна на лицейский сад, трубы, крыши, купола. Блок — похож на свой знаменитый портрет с открытым воротничком рубашки. Только под глазами круги, у рта морщины, усталый взгляд.

Он встал из-за стола, за которым писал, пожал нам руки. Чулков, по своей привычке, сразу зашумел и о моих стихах, и о своей Изиде, и о погоде.

Отбросил со лба длинные литераторские вихры, нараспев зачитал что-то про тайгу… Блок не выказывал никакого нетерпения на эту болтовню, похвалил какое-то из моих стихотворений (конечно, оно ему ничуть не понравилось), сдержанно возражал Чулкову. Потом поил нас чаем, тоже сдержанно, радушно. Но явно было, что ни мои стихи, ни Изида, ни наш визит Блоку не нужны, утомительны, ни к чему. Что поит нас чаем и поддерживает с нами разговор вежливый хозяин, а поэт, одиночество которого мы спугнули, — отсутствует, ему не до нас. Я это очень ощущал и испытывал острую неловкость.

Перед прощанием — Чулков ушел в переднюю звонить по

телефону. Я сидел против молчащего Блока, досадуя на Чулкова, разливавшегося соловьем в телефон о чьих-то "дивных плясках". Вдруг Блок, тоже сидевший молча, посмотрел на меня как-то по-другому — прямо в глаза, ясно, приветливо, дружески.

— Вот… вы такой молодой… Сколько вам лет?

Я покраснел. Своих шестнадцати лет я чрезвычайно стыдился.

— Да… такой молодой… вам кажется, что поэзия радость?.. Поэзия — страшная вещь, страшная тяжесть…

— …Целую ручки, дуся, — клокотал в телефон Чулков. — И мизинчики особо. Непременно приходите — это не балет, а волшебство, мистерия…

— Вот что, — Блок положил мне руку на плечо, — приходите ко мне как-нибудь на днях. Позвоните сначала. Приходите, — он покосился на дверь — одни, без Георгия Ивановича… Он добрый, милый, но, — Блок широко улыбнулся, — очень уж… деятельный…

К Блоку я «зашел» не раз. Теперь воспоминание об этих беседах в пустоватой просторной комнате, с крышами и закатом в окне, об этом медленном удивительном голосе, этом путанно-чарующем разговоре сливается в моей памяти в какую-то мерцающую холодноватым блеском туманность. О чем мы говорили?

Точнее, о чем он говорил — я, по большей части, только слушал, стараясь понять и впитать этот монолог, неясный, беспредметный, скользящий.

Главным образом Блок говорил о смерти и о любви. Сильней ли смерти любовь? Блок качал головой.

— Нет, нет, это выдумка трубадуров, — смерть сильнее. Он молчит минуту, точно взвешивает свои мысли. Да, смерть сильнее любви.

"Зачем вы занимаетесь ландшафтами и статуями? Это не дело поэта. Поэт должен помнить об одном — о любви и смерти…" — писал мне как-то Блок из деревни — саратовского Шахматова. На одной из книг, подаренных мне Блоком, надписано: "На память о разговоре о любви". На другой: "На память о разговоре о смерти".

Эту вечную тему в беседах Блока оплетали звезды, голоса из другого мира, страх, грусть, нежность… В средине разговора Блок обрывал его, раскрывал книгу, часто наудачу, и — удивительно — почти всегда книга откликалась на только что сказанное.

Помню раз, уже во время войны, в 1915 или 1916 году, я случайно зашел к Блоку, и наш случайный разговор вдруг «повернулся» в сторону тех, давно уже прекратившихся бесед-туманностей, которые Блок когда-то вел со мной — подростком.

Блок заговорил о смерти, о своей близкой смерти. Я, как водится в таких случаях, возразил что-то вроде: "Помилуйте, что вы…" Блок молча взял со стола Тютчева и протянул мне. Вышло "На кончину брата":

…Дни сочтены. Утрат не перечесть.
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди…

"Чтобы стать поэтом, надо как можно сильнее раскачнуться на качелях жизни…"

"Жизнь приобретает цену только тогда, если вы полюбите кого-нибудь больше своей жизни…"

Мне запомнились эти два отрывка из писем, когда-то (в 1911 или 1912 году) писанных мне Блоком.

А в одной из «туманных» бесед того времени Блок говорил, задумчиво отрывая каждое слово:

— Мы все, господа, белоручки… В стихах заботимся о разных пеонах…

А вот недавно умер Фофанов… Валялся в канаве и бормотал что-то о звездах.

Стихи его посредственные… Но в них что-то, чего у нас нет. У самого Пушкина, может быть, нет.

— Что же?

— Трудно определить… Какая-то прямая связь с Богом, с вечностью…

Этого пеонами не добьешься.

— Тогда лежать в канаве пьяным поэту полезней, чем работать в таком кабинете?

Задумчивая улыбка.

— Может быть. Полезней!

Жизнь Блока была непохожа на обычную жизнь петербургского писателя. В доме Мурузи на Литейном — блистал салон Мережковских. На Таврической, более тяжелым, книжным блеском — «Башня» Вячеслава Иванова. Десятки других, меньших «центров» перекрещивали литературную жизнь. Шла борьба, расколы, объединения. Блок бывал и там, и там, но держался отчужденно. «Главная» его жизнь шла в стороне. Было у него два-три близких друга, тоже "со стороны".

Но что это была за жизнь? И что за друзья?

…Блок живет отшельником. Рано встает. Запирается в кабинете. Его покой тщательно оберегается. Если звонит телефон, подходит жена или прислуга: Александр Александрович уехал…

Александр Александрович болен…

Чтобы добиться Блока, надо вести долгие сложные переговоры, часто остающиеся бесплодными: болен… уехал…

Блок не болен и не уехал. Должно быть, он занят какой-нибудь срочной работой. Не всегда. По большей части, он сидит, заложив руки за спину, и смотрит в одну точку. Так он может сидеть час, два, три, целый день. В окнах — лицейский сад, крыши, трубы, купола. На столе — начатая бутылка елисеевского «Нюи». В квартире тишина.

Блок смотрит в одну точку. Иногда в счастливый день из обоев и мебели, из окна с лицейским садом, из стола с бумагами и бутылкой «Нюи» сгущается какое-то облако. Понемногу это облако превращается в сероватый светящийся грот. Вдруг зазвенит чей-нибудь назойливый звонок — тогда все пропало. Но кругом тишина. И в средине грота начинает вырисовываться фигура цапли. Она стоит неподвижно на одной ноге. Цапля — стеклянная, она тускло светится.

Понемногу этот тусклый свет делается ярче, разгорается, переходит в сияние.

Хрустальная сияющая цапля стоит в центре голубого грота перед остановившимся, неподвижным взором Блока. Его глаза неподвижно уставлены в это странное видение, губы начинают шевелиться, повторяя первые слова зарождающихся стихов. Покуда Блок не увидит свою цаплю — стихи не выйдут.

— Мне так хотелось писать сегодня, — говорит он. — Я был уверен, что она появится. И так досадно — сидел, ждал — ничего.

— И стихи не вышли?

— Не вышли.

Но не всегда, конечно, Блок поджидает свое светящееся видение.

Вот он садится к столу, достает несколько переплетенных тетрадей и раскрывает их. Это рукописи? Нет, это книга, куда записывается корреспонденция. Она аккуратно разграфлена. Клетка для номера письма и (дня) получения, клетка, в которой отмечается день ответа. Блок — аккуратнейший из людей.

В другую тетрадь наклеиваются рецензии, в третью — напечатанные стихи.

И рядом отметка рукой Блока — напечатано там-то, тогда-то…

….Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет…

И книжка для записи корреспонденции, старательно

разграфленная:

получено — отвечено!

…Блока нет ни для кого дома. Но запрет не касается нескольких избранных, ближайших друзей. Вл. Пяст — опустившийся, оборванный, полубезумный поэт. Зоргенфрей — корректного вида господин, инженер по профессии, любитель Жюль Верна и знаток Каббалы. Евгений Иванов — юродивый с проблесками гениальности, похожий на рыжего мужика из сна Анны Карениной.

Этим гостям Блок всегда рад. Они приходят и уходят, когда вздумается, с ними Блок ведет бесконечные разговоры (ну, о чем, например, с Зоргенфреем, неужели о Жюль Верне?), с ними совершает длинные прогулки и записывает потом в дневник:

"Провел приятный вечер. Гуляли с Пястом по Лахте и ели колбасу".

…Часа два ночи. Какой-нибудь мелкий петербургский ресторан — «Яр», «Черепенников», «Давыдка». Дым, пьяный говор. За одним из столиков — Блок.

Строй пустых бутылок все растет. Кто-то подсаживается к столику, кто-то чокается. Блок пьян, лицо его красно, глаза уставлены неподвижно в одну точку. Что он видит там — свой голубой грот? Или звезды, которые видел Фофанов. Или ту, что

Медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Душа духами и туманами,
Она садится у окна.

Или, вернее всего, -

Ледяную рябь канала,
Аптеку, улицу, фонарь, —

страшную, невыносимую скуку жизни. Той жизни, чтобы оправдать которую — надо полюбить кого-нибудь сильнее ее…

…Пяст, задыхаясь, бормочет под нос бред в стихах о гнилых зубах и Эдгаре По.

— Саша! — вскрикивает Георгий Чулков и бьет себя в грудь.

— Саша! — Пьяные слезы текут по его лицу. — Выпьем за вечную женственность, Саша!

…Надо как можно сильней раскачнуться на качелях жизни…

x x x

По натуре, по воспитанию, по всем с детства усвоенным навыкам, — Блок был человеком спокойным и уравновешенным, расположенным к труду и тихой жизни.

Дико звучит, но предположим на минутку, что Блок не был бы поэтом. Как легко тогда его представить кабинетным ученым, или хорошим хозяином-помещиком, или владельцем какого-нибудь солидного, прекрасно управляемого предприятия.

Аккуратность и методичность, его манеры, рассудительный говор, умный взгляд — все подходило бы. Как легко представить себе жизнь этого красивого, умного, справедливого человека — конечно, счастливую и спокойную жизнь.

Но — Блок был поэтом и прожил жизнь несчастную, беспокойную и томительную.

Поэзия — это что-то вроде падучей. Покуда болезнь таится, только очень внимательный взгляд различит в лице одержимого что-то неладное — "так — движенье чуть видное губ", какую-то необычную ноту в голосе, «что-то» в глазах. Но вдруг, неожиданно, падучая приходит, и человека нельзя узнать.

Так посещала Блока муза из его "Страшного мира". Потом, когда «припадок» проходил, Блок с дрожью вспоминал "эти страшные ласки твои". Чем выше подымался поэт, тем мучительней становилось дышать человеку.

…Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть…

Да, все есть в ее пеньи. И "сокровенные напевы" не лгали: когда все, что было дорого человеку, поэтом было проклято, — пришла гибель.

…Где деньги твои? Снес в кабак.
Где сердце? — Закинуто в омут…

О поэтах и художниках, о всех выдающихся людях принято говорить после смерти: "он сгорел", "он был обречен". По большей части это риторический прием. Но Блока действительно привела к смерти поэзия, как других туберкулез или рак.

"Мы потеряли его не тогда, когда он умер, но гораздо раньше, когда он создал мечту своей жизни", — можно повторить о Блоке его слова о Врубеле.

"Мечту своей жизни", завершение и венец своего "страшного мира" — «Двенадцать» Блок создал в 1918 году…

И еще из той же статьи:

"Небывалый закат позолотил небывалые сине-лиловые горы…"

ГУМИЛЕВ

27 августа 1921 года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, — трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, Георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, расцвете жизни… Гумилев говорил, что поэт должен "выдумать себя". Он и выдумал себя, настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших (о читателях нечего и говорить) стала его живым лицом. Только немногие близкие друзья знали другого Гумилева — не героя и не африканского охотника. Конечно, чтобы представить себе его настоящий облик, надо знать обоих — и выдуманного, и выдумавшего. Сначала я расскажу о первом.

x x x

Какой-то домашний знакомый (это было в 1910 году) развлекал общество чтением «декадентских» стихов. Мне было 16 лет, я уже писал стихи, тоже декадентские, дюжинами. Имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба были мне хорошо известны. Но чтец прочел «Капитанов» и назвал имя Гумилева. Меня удивили стихи (ясностью, блеском, звоном), и я запомнил это имя, услышанное впервые.

Через года полтора — я выпустил свою первую книжку, побывал в футуристах, ушел от них и был «кооптирован» в "Цех поэтов", только что основанный. С. Городецкий, сообщая о моем избрании, сказал, что стихи мои нравятся Гумилеву. Почему-то это одобрение меня обрадовало больше, чем похвалы Городецкого или Чулкова, с которыми я вел знакомство. Почему? Стихов Гумилева я в это время почти не читал, его самого никогда не видел.

Познакомились мы на вечере в честь Бальмонта в "Бродячей Собаке". Там должен был быть в сборе весь «Цех», и я явился, как новобранец в свою часть.

Я пришел, конечно, слишком рано. Понемногу собирались другие — Зенкевич, Мандельштам, Моравская. Пришел Городецкий с деревянной лирой под мышкой — атрибутом «Цеха». Уже началась программа, когда кто-то сказал: "А вот и

Гумилев".

Гумилев стоял у кассы, платя за вход. Деревянно наклонившись, он медленно считал на ладони мелочь. За его плечом стояла худая, очень высокая смуглая дама, в ярко-голубом не к лицу платье — Анна Ахматова, его жена.

Внешность Гумилева меня поразила. Он был похож на медленно и важно двигающегося манекена. Я сразу заметил его большой, точно вырезанный из картона нос, его голову, стриженную под машинку, его холодные косые глаза без бровей. Одет Гумилев был тоже странно: в черный длиннополый сюртук и оранжевый галстук. Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов о моих стихах, и я сразу почувствовал к нему преувеличенное почтение, граничившее со страхом. Только через несколько лет тесной дружбы это чувство (я не был исключением — Гумилев внушал его всем окружающим) окончательно исчезло.

Внешность Гумилева тогда показалась мне странной до уродства. Он действительно был очень некрасив. Но у него были прекрасные руки и редкая по очарованию улыбка.

x x x

"Цех поэтов" был основан Гумилевым и Городецким. Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить этот, правда, недолгий, союз. Надменный Гумилев и «рубаха-парень» Городецкий — что было общего между ними и их стихами!

Официально Гумилев и Городецкий были равноправными хозяевами «Цеха» — синдиками. Они председательствовали поочередно, и оба имели высокое преимущество — сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным, — в том числе Кузмину и Блоку, полагались простые венские стулья.

Обычно Городецкий во всем поддерживал Гумилева, но изредка, вероятно, для формы, вступал с ним в спор. Гумилев говорил: «Прекрасно», Городецкий возражал: "Позорно".

Разумеется, Гумилев неизменно торжествовал. Вообще он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побежденным. С собеседниками столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и с серьезным противником он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно неправ.

Отношения между синдиками и членами «Цеха» были вроде

отношений молодых офицеров с командиром полка. "В строю", т. е. во время заседания, дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшие себя таковыми вскоре пообиделись по разным поводам и «Цех» посещать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наиболее «верные» впоследствии образовали группу акмеистов.

После заседания — весело ужинали. И снова, как в полковом собрании, — командир-Гумилев пил с «молодежью» "на ты", шутил, рассказывал анекдоты, был радушным и любезным хозяином, но «субординация» никогда не забывалась.

x x x

Гумилев трижды ездил в Африку. Он уезжал на несколько месяцев, и по возвращении "экзотический кабинет" в его царскосельском доме украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительные, дорого стоящие поездки, а Гумилев был не силен здоровьем и не богат. Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследованные области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось — давал и сражения.

Негры из сформированного им отряда пели, маршируя по Сахаре:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше Э-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Последняя его экспедиция (3-й год перед войной) была уже широко обставлена на средства Академии наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40 температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его.

Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговорил о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: "Еще заразишься", — и прибавил: "Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно

уеду".

На другой день я вновь пришел его навестить, т. к. не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: "Коля уехал".

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось не уложенным, выпил стакан чая с коньяком и уехал.

x x x

Осенью 1914 года Гумилев за чашкой чая в «Аполлоне» неожиданно и как-то вскользь сообщил, что поступает в армию.

Все удивились. Гумилев был ратником второго разряда, которых в то время и не думали призывать. Военным он никогда не был.

Значит, добровольцем, солдатом?

Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

Гумилев думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего.

Месяца через полтора он надел форму вольноопределяющегося Лейб-Гвардии Уланского полка и вскоре уехал на фронт.

Гумилев изредка приезжал на короткие побывки в Петербург. Он не написал еще тогда, но уже имел право сказать о себе:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Война его не изменила. О войне он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике, читал эпиграммы, сочиненные полковым дамам:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,

Так вы в Лейб-Гвардии Уланском
Ее Величества полку.

Когда его поздравляли с Георгиевским крестом, он смеялся: Ну, что это, игрушки. К весне собираюсь заработать "полный бант" (все четыре степени).

Стихи того времени, если и говорили о войне, то о войне декоративной, похожей на праздник:

И как сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Только раз я почувствовал, что на войне Гумилеву было не так уж весело и приятно, как он хотел показать. Мы засиделись где-то ночью, поездов в Царское не было, и я увел Гумилева ночевать к себе.

— Славная у тебя комната, — сказал он мне, прощаясь утром. — У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко.

x x x

Гумилев устал. "Рядить в жемчуга" победу приходилось все реже. Вместо блестящих кавалерийских атак и надежд заработать "полный бант" приходилось сидеть без конца во вшивых окопах. В эти дни им были написаны замечательные стихи о Распутине:

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.
И не погнулись, о горе!
И не покинули мест
Крест на Казанском Соборе
И на Исакии крест.

x x x

Наступило 27 февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там в библиотеке, уставленной широкими диванами, под клеткой с горбоносым какаду, тем самым, о котором Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый какаду,

Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста.

Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: "Я не читаю газет".

Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидав впервые Сахару, Гумилев сказал: "Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара".

Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: "Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто — "Керенский".

Летом Гумилев уехал в командировку в Салоники.

x x x

До Салоник Гумилев не доехал, он остался в Париже. Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Парижем — из Петербурга слали приказы "прапорщику Гумилеву" немедленно ехать в Салоники, из Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилев успел очаровать, — этим приказам сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон.

За этот год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса "Отравленная Туника", ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте.

За границей Гумилев отдыхал. Но этот «отдых» стал слишком затягиваться.

На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев

рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в Иностранный Легион, другой ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: "Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей". Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое устроили ему его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пикадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране.

x x x

Летом 1918 года Гумилев снова был в Петербурге. Он гулял по разоренному Невскому, сидел в тогдашних жалких кафе, навещал друзей, как всегда спокойный и надменный. У него был вид любопытствующего туриста. Но надо было существовать, к тому же Гумилев только что женился (вторым браком на А. Н. Энгельгардт). До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь — он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся.

— Теперь меня должны кормить мои стихи, — сказал он мне.

Я улыбнулся.

— Вряд ли они тебя прокормят.

— Должны!

Он добился своего — до самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами (сколько он их сделал!) для "Всемирной литературы". У него была большая семья на руках. Гумилев сумел ее "прокормить стихами". Как это было трудно, поймет каждый.

Кроме переводов и книг, были еще лекции в Пролеткульте, Балтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой — хлебом, крупой. Это очень нравилось Гумилеву — насущный хлеб за духовный. Ему нравилась и аудитория — матросы, рабочие. То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло. Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студистами, как ни в чем не бывало, снимал перед церковью шляпу и истово, широко, крестился. Раньше о политических

убеждениях Гумилева никто не слыхал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, даже явным большевикам открыто заявлять: "Я монархист". Помню, как глухой шум прошел по переполненному рабочими залу, когда Гумилев прочел:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: "Большевики презирают сменовеховцев и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали".

Приведу для контраста другой разговор, в те же дни в разгар террора, но в кругу настоящих сторонников всего старого. Кто-то наступал, большевики терпели поражения, и присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они "будут у власти". Мечты были очень кровожадными.

Заговорили о некоем П., человеке "из общества", ставшем коммунистом и заправилой «Петрокоммуны». Один из собеседников собирался душить его "собственными руками", другой стрелять "как собаку" и т. п.

— А вы, Николай Степанович, что бы сделали?

Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:

— Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или в Калугу.

Петербург ему не по плечу.

x x x

В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилева, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались.

Гумилев сказал им фразу, которую они поняли только после его расстрела:

— Так провожают женщины людей, идущих на смерть.

Он шел переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной «организации», из-за участия в которой погиб.

Известно, что Гумилева предупреждали в день ареста об опасности и предлагали бежать. Известен и его ответ: "Благодарю

вас, но мне бежать незачем — большевики не посмеют меня тронуть. Все это пустяки".

x x x

В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и — вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни.

Так же спокойно, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности "своему Государю" в лицо матросам Балтфлота.

За два дня до расстрела он писал жене: "Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы. Пришли сахару и табаку".

2

Не знаю, доброй или злой была фея, положившая в колыбель Гумилева свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное. Этот дар помог Гумилеву стать тем, чем он был, этот дар привел его к гибели. (…)

Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его.

(…)

Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему призванию — писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца.

Этим детским мечтам Гумилев, в сущности, следовал всю жизнь. Только с годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости.

x x x

В своей квартире на Преображенской Гумилев сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была

закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной. Картинка была очень забавна, особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем. Он был без ног — художник забыл их нарисовать. Гумилев охотно рассказывал историю всех изображенных.

Гумилев любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан.

— Не могу отвыкнуть, — пояснял Гумилев, — человек военный, играю на нем по вечерам.

В квартире водилась масса крыс.

— Что вы, — говорил Гумилев, когда ему давали советы, как от крыс избавиться. — Я, напротив, их развожу на случай голода, чтобы их приручить.

Я даже иногда предательски здороваюсь со старшей крысой за лапу.

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

— Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу.

— А по-французски можно?

— Что желаете.

Гумилев читал вслух Готье, Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая.

Иногда Гумилев начинал фантазировать:

— Погодите, Паша, вот скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток.

— Дай Бог, Николай Степанович, дай Бог.

— Я себе тогда аэроплан куплю. Скажу: Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю недалеко — вон до той тучки.

— Дай Бог! Дай Бог!

Гумилев вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то "Мир приключений", присаживался к столу, начинал стихи, доедал купленные вчера сладости.

— Это и есть самая приятная жизнь, — говорил он.

— Приятнее, чем путешествовать по Африке?

— Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться, падают на землю и кричат: "Калас!" (дальше не иду). Надо их поднимать плеткой. Злишься так, что сводит челюсти. Я вообще не люблю юга.

Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска.

В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок,

вспоминал Царское, Петербург, "Бродячую Собаку" и мне становилось, страшно: вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу.

— А на войне?

— На войне то же самое. Страшно и скучно. Когда идешь в конную атаку, кричат: "Пригнись!". Я не пригибался. Но прекрасно сознавал, какой это риск.

Храбрость в том и заключается, чтобы подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков не храбрец, а чурбан.

И еще неприятно на войне — целые дни в сапогах, нельзя надеть туфлей, болят ноги.

Целую зиму 1921 года Гумилев жил без часов. На вопрос: который час? — разводил руками: "Кто его знает. Впрочем, подожди, — он подходил к окну. — Около четырех". — Как же ты определяешь? — По солнцу. — А когда солнца нет? — По молочницам, по школьникам. Вечером по уличному шуму. И знаешь, это развивает наблюдательность, я никогда никуда не опаздываю.

Гумилев удивительно понимал стихи — с полуслова, насквозь и до конца. Его критические приговоры — образчик редкого чутья и вкуса. Еще более редкой была его способность говорить и спорить об искусстве.

Но Гумилев был ленив — если для диспута с Вячеславом Ивановым или Иннокентием Анненским трудно было бы найти более блестящего и изобретательного противника, то с соперниками менее серьезными он нередко применял невзыскательный, но верный прием — обухом по лбу.

Молодой поэт горячо доказывает Гумилеву что-то и сыплет цитатами.

Гумилев не хочет уступать. Но спорить ему лень. Он перебивает спорящего, насмешливо улыбаясь: "Да, мой дорогой. Со своей точки зрения вы, пожалуй, и правы. Но если бы вы прочли семь томов натурфилософии Карра, вы бы думали иначе".

Манерой говорить, уверенностью, голосом он умел подавлять собеседника, даже когда дело касалось малознакомого ему предмета.

Раз, идя во "Всемирную литературу", мы заговорили о музыке. Гумилев утверждал, что музыка вся построена на «нутре», никаких законов у нее нет и не может быть. Нельзя писать о поэзии или живописи, будучи профаном. О музыке же — сколько угодно. Я усумнился.

— Хочешь пари? Я сейчас заговорю о Шопене с Браудо (известным музыкальным критиком), и он будет слушать меня

вполне серьезно и даже соглашаться со мной.

— Отлично, только зачем о Шопене? Говори о каком-нибудь модернисте. Ну, о Метнере.

Гумилев заставил меня побожиться, что Метнер действительно существует.

Он был настолько далек от музыкальных дел, что думал, что я его дурачу.

Во "Всемирной литературе" Гумилев завел с Браудо обещанный разговор. Он говорил о византинизме Метнера (Браудо спорил) и об анархизме метнеровского миропонимания (Браудо соглашался). В конце беседы Браудо сказал:

— Николай Степанович, а не написали ли бы вы нам для "Музыкального Современника" статейку? Уж не поленитесь — очень было бы интересно.

Гумилев никогда не забывал надевать фрак в тех случаях жизни, когда это полагалось. То, что этот фрак был сильно потерт и сидел мешком, он считал неважным — была бы соблюдена форма.

"Мой фрак, мой дом, моя жена", — Гумилев произносил все это с одинаковым торжественным безразличием. Казалось, что если одну жену заменить другой — Гумилев этого не заметит, но если у него вовсе отнять — безразлично, жену или фрак, — нарушится вся гармония его жизни.

Гумилев очень любил соблюдать обрядности и обычаи. Вряд ли он был церковно верующим человеком — скорее суеверным. Но он перед каждой церковью "ломал шапку", аккуратно причащался и говел. При встрече со священником подходил под благословение.

То же было и с соблюдением правил джентльменства, вежливости, дворянских традиций. Гумилев всегда защищал слабого против сильного, был почтительно любезен со стариками, оберегал честь женщин.

Он был очень гостеприимным хозяином. И не перестал им быть и в голодное советское время. Пригласив кого-нибудь из своих друзей к обеду, Гумилев потчевал его со старомодной любезностью жаренной собственноручно воблой и макаронами из черной муки. Если обедала дама, он надевал "свой фрак" и беседовал по-французски.

Гумилев рассказывал, что в молодости всякий отзыв о своих стихах он принимал как оскорбление. Самые лестные рецензии казались ему недостаточными.

— С годами становишься скромнее, — прибавлял он. — Теперь, если я читаю, что стихи Гумилева "тоже не лишены таланта", я с благодарностью думаю: "Не все же меня ругают, вот

и похвалили".

Первым председателем Петербургского Союза Поэтов был выбран Блок.

Вскоре, однако, в Союзе произошел "дворцовый переворот" и место Блока занял Гумилев. Он отнесся к своим обязанностям председателя серьезнее, чем требовала эта бутафорская должность. Заседал, провозглашал независимость от Москвы, основывал "Дом поэтов", хлопотал о журнале и т. п.

Увлекаясь, он видел в близком будущем этот Союз всемирным и дальше — его id e fixe — интернационал поэтов, управляющий вселенной.

Пока что Союз устраивал вечера, а также выдавал своим членам командировки на проезд по железной дороге за продуктами, благо имелась магическая "круглая печать".

Пользовался этой печатью и Гумилев. Семья его жила в Бежецке, Тверской губ. Во время одной из таких поездок Гумилев встретил в вагоне бывшего кучера или садовника из своего имения. Узнали друг друга, разговорились.

Вдруг контроль, и садовник Гумилева оказывается безбилетным. Времена были суровые, и бедному «зайцу» грозили месяц-два "снеговой повинности". Гумилев за него вступился.

— Освободите этого гражданина, — сказал он важно. — Я за него ручаюсь. Я председатель.

«Гражданина» освободили.

Гумилев говорил, что для поэта быть влюбленным есть профессиональная необходимость. Сам он постоянно влюблялся — направо и налево. Он называл это поисками "Прекрасной Дамы". Но была у него и более простая формула на этот счет: "Бей ворону, бей синицу, попадешь на ясного сокола". "Донжуанский список" Гумилева занял бы несколько страниц.

Своими успехами он очень гордился. "Я не красив, но я знаю секрет, перед которым женщины не могут устоять". — Какой же? — Я овладеваю их воображением — рассказываю про войну и читаю стихи. Они любят поэзию и подвиги больше всего на свете. И еще никогда не надо теряться или показывать слабость. Я говорю: дорогая, весь «Костер» написан для вас. "Но, Николай Степанович, — мы еще не были знакомы, когда вышел «Костер». — Дорогая, это ничего не значит — я вас предчувствовал…

— А показывать слабость, стреляться — нет ничего хуже. Я перерезал себе вены и чуть не умер, а NN, в которую я был влюблен, только смеялась.

Редактируя посмертный сборник Гумилева, я получил очень много его рукописей из женских рук. Все это были, конечно,

любовные стихи с посвящениями. Часто владелицы рукописей желали, чтобы посвящение было сохранено. Но сделать это было нелегко. Например, я получил от трех лиц три автографа "Приглашения в Путешествие". Все были посвящены разным. В середине стихотворения были маленькие варианты:

А вы — вы будете с цветами,
И я вам подарю газель
С такими грустными глазами,
Как будто в них ноет свирель.
И птицу дальную, что краше
Таинственных ширазских роз,
Чтобы порхать над черной вашей
Волнистой шапкою волос.

или:

Чтобы порхать над русой вашей
Прелестной шапочкой волос.

или:

Чтобы порхать над рыжей вашей
Кудрявой шапкою волос.

Получил я также свое собственное стихотворение, переписанное рукой Гумилева и кое-где измененное к случаю. Гумилев «одолжил» его, идя на какое-то свидание и не имея под рукой ничего "подходящего".

x x x

За полгода до смерти Гумилев сказал мне: "В сущности, я неудачник". И еще: "Как я завидую кирпичикам в стене — лежат, прижавшись друг к другу, а я так одинок".

Меня не удивили эти слова, многих бы удивившие. Гумилев был действительно очень одинок — всю свою короткую жизнь он был окружен холодным и враждебным непониманием.

…Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.
…Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью.
И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Всю жизнь он посвятил одной мечте — заставить мир «вспомнить» то, о чем никогда не забывал он сам: божественное значение поэзии. Всю жизнь он как укротитель хлопал бичом, а звери холодно отворачивались и зевали.

В этом смысле он был прав, считая себя неудачником. В этом смысле первой — блестящей — победой Гумилева была его смерть.

МАНДЕЛЬШТАМ

1

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее — блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской — путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался "роковым".

Казанская площадь была полна народа. Флаги, портреты, "Боже, царя храни" с одной стороны — с другой свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагонадежными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городовых с криком: "Расходитесь, расходитесь, господа", — оттиснула нас в сторону Казанской улицы…

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. "Последние тучи рассеянной бури" — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать куда-то жалобу, кричал, что он знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава. Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.

— "Маленькое недоразумение… Сейчас мы это уладим… —

он взялся за карандаш. — Ваши фамилии, господа, адреса…"

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и "род занятий", — пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Г-н пристав, даю вам слово… Даже не знаком…

— Но позвольте…

— Даю вам слово… Я сын купца. Сын купца…

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав. — Вы вон писатель. Я и предположил, не из семейства ли нашего известного…

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборея» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост.

Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом.

Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете.

Горничная в наколке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто.

Хозяина — редактора — еще нет — задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя…

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах.

Поэтому скажу два слова об обоих.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи:

На руке его много блестящих колец —
Покоренных им девичьих нежных сердец.
Но на этой руке нет кольца моего,
Никому, никому не отдам я его.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты стали издавать этот журнал, как и полагается, — в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел. Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра… Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое, его опять, еще пуще ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка, «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса», скоро прекратился сам собой. Тогда Гумилеву пришла мысль не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, но того же типа — т. е. поэты сами хозяева и "полная независимость".

«Гиперборей» выходил ежемесячно, аккуратно изданными книжечками в 32 стр. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле. — "Послушайте, — сказали как-то Лозинскому, — ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно". Лозинский нахмурился. — "Действительно, вы правы, неловко… — но сейчас же лицо его прояснилось. — Ну ничего, —

я им скажу"…

Повторяю — редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, "к сожалению", возвращались, вряд ли могли долго сердиться, так мягко, деликатно и необидно для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то отвергнутый поэт переменился с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей из великолепного котика Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он, по крайней мере, клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы с такими общепризнанно мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина — рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены, как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете, оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, его не видно — он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость, и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление…

— Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость, — говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь.

Гумилев утверждал, что если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

x x x

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке.

Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает, так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, незамысловатый экспромт:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой…

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный.

— Скажите, господа, где помещается "Аполлон"?

Спрашивал это… мужик. Простой мужик в картузе, в валенках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные сверлящие глаза.

— На Разъезжей 26, — сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно, — минуту мы стояли, не понимая, — почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол…

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он угадал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услышал обрывки разговора? Нет, он шел к нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, все о том же "пустом восьмом" трамвае.

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ. — "Это вам почудилось со страху после участка". — Практический Б. Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес — ну и спросил — может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик.

Наша собственная фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое.

Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова…

x x x

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому

«послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург — бродит вот так мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице. — "Скажите, господа, где помещается „Аполлон"?".

Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбове, т. е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то зачем-то бродит — уже очень давно, с начала девятисотых годов — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он, неизвестно почему, прекратил, уйдя от нее, вот так, с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда…

Странная и необыкновенная жизнь: — что-то от поэта, что-то от Алеши.

Карамазова, еще многие, разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и, мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из "четвертого измерения" строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался "Из книги невидимой". Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» для нас — была видимой кому надо, кому надо «объявиться», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности. На время? Навсегда? Кто знает — поэзия дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана
Вышло больное дитя.

Это Добролюбову посвящено. И эпиграф пушкинский к нему: "А. М. Д. своею кровью…" имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

…Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский, снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться "Рыцарю бедному" — давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем…

x x x

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: "Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?"

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом — «сыпал» вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое… не хуже какого-нибудь Чаплина — оставаясь при этом, в каждом движении, каждом шаге, «ангелом», ребенком, "поэтом Божьей милостью" в самом чистом и «беспримесном» виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше, и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире, — визитная карточка: "Георгий Иванов и О. Мандельштам". Конечно, заказать такую карточку пришло в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши "молодые поэты", что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», "комического персонажа" — из жизни поэта Мандельштама.

В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот уж, наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских

стихотворений:

…Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
…Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь, целовала,
А строгою в Москве была.
Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок,
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная: "Пушкин прощается с морем"), — поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, — выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом "живописном уголке Крыма", — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. — Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, чтобы ему дали графин воды: получив его, он выпивал, конечно, все сразу и опять начиналась мука… Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения "живописного уголка". Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви "ладонями моими пересыпаемый песок". Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки подобного рода: в Коктебель ее привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать…

С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам

выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке.

Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел на берег, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы "свиное ухо". Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком… Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной, — оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока "на книжку". Она знала, конечно, что ни копейки не получит, — но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо:

— Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам.

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед, — может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, — видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека…

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок… Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим…

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо:

"Господин — часы обронил". И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув "свиное ухо"…

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем…

1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной — мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция "Гиперборея",

Мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино.

Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, — к себе ночевать. Он два года пропадал — был в Крыму, оттуда выслали в Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с Мандельштамом путешествие через всю Россию, — и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.

— "Кто там?" — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака…

— Кто там?

— Это я.

— Кто я?

— Я… Мандельштам…

Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать.

Первой его заботой, после того, как он немного осмотрелся и отошел, было — достать себе "вид на (жительство)".

— Да успеешь завтра.

— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем в Совдеп, или как его там.

— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

— У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу. — "Вот:

"Командующий вооруженными силами на юге России" — значится в заголовке. — Удостоверение… Дано сие Мандельштаму Осипу Эмилиевичу… Право жительства в укрепленном районе… Генерал Х… Капитан Y…"

— И с этим ты хотел идти в Совдеп!.. Детская растерянная улыбка.

— А что? Разве бумажечка не годится?

……..

Первые стихи Мандельштама были напечатаны в «Аполлоне» в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть — все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены — их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин. Вскоре в петербургских литературных «салонах» стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы — он учился в Париже.

Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная вьющимися редкими волосами, характерное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.

При всем этом он был похож чем-то на Пушкина. И не одними баками. Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха-горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары — и тому подобные посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело — она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требование чаю и бутербродов в неурочное время и тому подобное.

Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой:

— Что вы, барин, видно без всякого Мандельштамта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!

Стихи Мандельштама были замечены. Но мало кто оценил это «чудо», как называла их Ахматова. И он, инстинктивно чувствовавший свое «божественное» происхождение и с детской беззастенчивостью этого не скрывавший, постоянно терпел обиды.

Мандельштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи.

Ответа не получил — ну мало ли что — письмо затерялось, может быть.

Приехав в Петербург и напечатавшись в «Аполлоне», решился позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор:

— Можно попросить Федора Кузьмича?

— Я у телефона.

— Говорит Мандельштам.

Молчание.

— Я хотел бы приехать к вам, Федор Кузьмич.

— Зачем это?

— Чтобы прочесть вам свои стихи.

— Я их уже читал.

— И услышать ваше мнение.

— Я не имею о них мнения…

В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников, одна поменьше, другая побольше.

Брюсов объяснил: — "Вот об этом, — кипа поменьше, — я буду писать в "Русской Мысли". Об остальных — не стоит".

В ворохе «остальных» лежал только что вышедший «Камень» Мандельштама.

— Как? Вы о «Камне» не будете писать? Презрительный жест. "Не стоит — эпигон". И Брюсов прочел:

Так. Но прощаясь с римской славой
С Капитолийской высоты
Во всем величьи видел ты
Закат звезды его кровавой.

— Из этого вышел весь Мандельштам. И, конечно, все его римские стихи не стоят ни одной из этих строк.

— Предположим. Но другие? Неужели ни одно вас не "трогает"?

— Ни одно!

— …Он ненавидит его, — сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора. — Ненавидит за то, что Мандельштам ангел, а сам он только литератор!

Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила — он «пел» стихи — но не так, как «поют» большинство поэтов, умеренно, а вовсю, как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное «пение» поэтов кажется странным, — чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое странное. Улыбавшиеся на манеру X-а или Y-а, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать.

Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи: "Я опоздал на празднество Расина"… Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные. Смешки и подхихикивания становились все явственней.

…Вновь шелестят истлевшие афиши
И слабо пахнет апельсинной коркой…

— Свиньи! — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену.

Я утешал его, как мог, — он был безутешен. — "Свиньи, свиньи", — повторял он. Из зала слышался рев — хохота, криков, аплодисментов. Наконец, сквозь слезы, Мандельштам улыбнулся. Какие свиньи!

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье музы не пришли… —

сказал я ему в тон, строчками из недочитанного им стихотворения.

x x x

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода.

Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром — здесь он задыхался…

"Если здесь задыхаешься — там сломаешь шею", — холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв — его отъезд, обе стороны, и Мандельштам, и его петербургские друзья, это сознавали.

— "Может быть, и не сломаю!"

— "Сломаешь", — твердо повторил Гумилев. Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у такого поэта и такой голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни — имажинизма, всероссийского союза поэтов, казенных издательств. "Погуляет козочка и вернется домой". И кто знает, может быть, это чистилище пойдет ему даже на пользу.

Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов — от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же — но вид у него был какой-то растерянный. — "В Москве мне хорошо. А в Петербурге что ты можешь мне предложить?" — была одна из его первых фраз. — "Очень рад, что хорошо, предлагать мне нечего". — "Нет, ты скажи, — настаивал он, — можно ли в Петербурге устроиться?"

От "хорошей жизни" в Москве его явно тянуло обратно

«домой». Я ему посоветовал оставаться в Москве — все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге — одни дорогие могилы.

Заговорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами. — "Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время". Он смущенно признавался — ничего нет.

Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах, среди разных неведомых имен, на десятом месте — мелькает его подпись.

Грустно читать это имя под такими стихами:

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо — всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней прийти,
И гордая собой упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душечка, Марат, работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот, — говорит, — портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
Читатель, согласись, не может быть того!
Читатель, грустно, не правда ли?

ФОФАНОВ

К собранию стихов Фофанова приложен его портрет в молодости. В сюртуке, очень худой, длинноволосый; руки вычурно заломлены на коленях, голова «поэтически» откинута назад…

Помню его таким… — чуть было не написал я. Это, разумеется, было бы не совсем точно. Таким Фофанов был… лет за десять до моего появления на свет. И в то же время, действительно, помню и таким.

Когда в 1910 году, за год до смерти Фофанова, нас случайно познакомили — за столиком третьестепенного ресторана сидело два Фофанова. Один старый, обрюзгший (ему было всего сорок восемь лет, но выглядел он совершенным стариком), давно небритый, с потухшими, маленькими, ничего не выражающими глазками, — и рядом другой, в сюртуке, худой, большеглазый, с головой поэтически откинутой назад — точная копия только что описанного мной портрета…

Оба — и отец, и сын — были сильно навеселе, оба, размахивая руками, наперебой читали стихи. И стихи у обоих были, хотя внешне непохожие (младший Фофанов был футуристом, о «старой» и «новой» школах в поэзии шел у них вечный, бестолковый спор), но какие-то в то же время одинаковые. Неряшливый набор слов, стертых, как пятаки, или бессмысленных, в котором нет-нет и промелькнет какая-то райская музыка.

x x x

"Они меня погубили". "Из-за них я пью, из-за них умру под забором".

"Они замалчивают мои книги". "Они крадут у меня рифмы, размеры, все…"

Они… они… они… Достаточно посидеть с Фофановым четверть часа, чтобы бесконечное число раз услышать это — "они, они, они". С первого же слова знакомства, с первым же встречным, — будь то оценщик ломбарда, куда он принес женин оренбургский платок, или половой в трактире, или сосед в конке, — Фофанов непременно заведет разговор о «них» с жалобами, проклятиями, угрозами, размашистыми жестами и,

конечно, россыпью забористых словечек, невоспроизводимых в печати. Причем это «они» говорится без всяких пояснений, как о чем-то общеизвестном, разумеющемся самим собой. Если же все-таки спросить, кто же это «они», — ответ получался краткий:

— Они? — Пробочники!..

Пробочники — значит символисты. Символизм он ненавидит. Пробочники же они потому, что у самого, по понятиям Фофанова, главного из них, самого ему ненавистного — Валерия Брюсова — есть или был пробочный завод. За этот завод высмеял Брюсова Буренин — по своему обыкновению плоско и грубо. С легкой руки Буренина этот завод засел в отуманенной тяжкой жизнью и водкой голове Фофанова. Иногда, вместо «пробочники», он еще говорил — "Дантесы".

"Они" — символисты — убийцы Пушкина, потому что разрушают его дело своим «кривлянием» и "лиловыми ногами", — это раз. Два — они «травят», «замалчивают», «обкрадывают» его, Фофанова, — прямого, законного, единственного пушкинского наследника — за то, что он наследник, потому что он наследник…

— И ты — Дантес! — неожиданно набрасывается Фофанов на сына, на свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним. — "Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок! Нет никакого нового. Есть вечная, благоуханная… — он подымает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза, — …святая поэзия, и есть… — непечатное слово. — Целуй сейчас же, — он роется в карманах сюртука. — Целуй! — кричит он на весь ресторан и тычет в лицо сыну замусленную открытку с Пушкиным. — Целуй или убью!..

Его собственный портрет, сидящий рядом, встряхивает поэтической шевелюрой, закидывает еще выше голову и, равнодушно отстраняясь от открытки и трясущегося отцовского кулака, рассудительным тоном говорит:

— Оставьте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами — мраморная муха.

x x x

Фофанов жил в Гатчине, где-то на самом краю, в самой захолустной части этого захолустного городка. Чтобы попасть к Фофанову, надо было идти по колено в снегу через двор и потом каким-то узким и темным помещением, увешанным сбруей и

хомутами, пахнущим кожей и лошадьми. Наконец, маленькая, кирпично-красная дверка, из-за которой доносится оглушительная трескотня канареек.

К Фофанову можно прийти когда угодно, привести с собой кого угодно, он не удивится самому неурочному часу, не выкажет недоумения при виде совершенно незнакомого человека. Напротив, кто бы когда ни пришел, — он всегда рад — усадит, закажет стряпухе самовар, принесет папиросы, сам побежит в лавочку выпрашивать в долг какую-нибудь закуску.

Фофанов и по натуре очень гостеприимный. А кроме того, он больше всего на свете боится одиночества.

— Когда остаюсь один — не могу. Сижу вот так с вами, с другим кем-нибудь, и ничего — легко дышать. А останусь один — и сейчас же начинается… это самое. Мерзко, что как кровь-то, кровь сопротивляется, приливает к голове, к ушам, вот-вот наружу бросится. Не испытывали?

Пренеприятнейшее чувство. Но исключительно когда один. На людях — никогда, ни-ни… Ну-с, — за ваше здоровье.

Оставаясь один, Фофанов начинал ощущать давление атмосферы.

Началось это года три назад. Вычитал в календаре или в отделе «Смесь» сведение, доселе ему неизвестное, о том, что воздух имеет вес; это и особенно огромные цифры его поразили. Достал какую-то популярную книжку на эту тему, внимательно перечел. Несколько дней ходил молчаливый, задумчивый.

После и началось "это самое".

— Кровь-то, кровь — сопротивляется, приливает…

Фофанова возили по докторам — те стукали, слушали, — ничего не нашли.

Все-таки его лечили, даже в Гагры ездил он на счет М. А. Суворина, в "Новом Времени" сотрудничал. Почему понадобилось именно в Гагры, — не знаю. Знаю только, что в Гаграх Фофанов страшно скучал, сначала, как обещал докторам, держался, потом не выдержал — запил по своему обыкновению мертвую. Еще в Гаграх, в пьяном виде, он чуть не убил какого-то диакона.

Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных канареек, — все ютится в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкутся гости.

Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший князь и вице-губернатор, отдаленный от этого своего

потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом, не требуя по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы…

Приходят и друзья писатели, поэты старой школы. Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок — Леонид Афанасьев, полная противоположность Фофанову во всем: не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно ежится.

Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен черной… китайской тушью.

Приходит какой-то "Петр Силыч", фамилию не помню, тоже поэтический друг "былых славных времен". "Огромный талант, — говорит о нем Фофанов. — А чтец какой — вы послушайте". Чтец, действительно, редкий. Читает он громовым голосом, с жестами, выкатывая глаза и тряся львиной гривой. При этом страшно шепеляв. "Она, как бабочка, царила над толпой", — есть у Фофанова такая строчка. В передаче замечательного чтеца получается явственное:

Она, как бабушка, солила над толпой…

Ходят еще друзья сына-поэта, футуристы третьего разряда. В ссорах о новой и старой школе иногда доходят до драки. Но без злобы — страшно быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футуристы эти, хоть и ниспровергают "все существующее" — но, от самого своего литературного рождения, чувствуют себя ущемленными, обиженными «несправедливо», — кем? да все теми же Дантесами, пробочниками, — теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, куда их не пускают.

— Тише, — вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение. — Тише. Я, — а надо слышать, как гордо порой он произносит это «я». — Я буду читать:

Ты — небо ясное в светилах,
Я море темное. Взгляни:
Как мертвеца в сырых могилах,
Я хороню твои огни.

Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова, в его чтении, даже от неудачных, — всегда «что-то» распространяется. Какое-то величие, неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее где-то между строк. Читает он долго, забывшись, из забытья его

выводит голос сына-футуриста.

— Папаша, ей-Богу же, вы мраморная муха.

Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке…

Фофанов писал:

Я и сам хочу в могилу,
И борьбе своей не рад,
И бреду я через силу,
Кое-как и невпопад.

Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «устал», "не могу больше", "хочу в могилу". И в разговорах он часто повторял то же — устал, не могу.

Перед самой смертью в нем со странной силой проснулось желание жить, страшное сопротивление перед этой, уже раскрытой для него могилой. "Не хочу, не хочу, не хочу умирать", — повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим "не хочу" он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в схватку. Трое человек едва его удерживали. Перед смертью в нем проснулась и страшная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул угол железной кровати.

Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шли несколько литераторов из мелких, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель владелец пивной. Но многие плакали. В лиловом платке, очень сильно набеленная и нарумяненная, шла за гробом его некрасивая, психически больная жена. Та самая "жена моя, Лидия", которую он обожал всю жизнь, которая в значительной степени ему жизнь отравила, та самая, которой посвящена ранняя книга Фофанова — лучшая его книга — называющаяся… "Иллюзии".

Когда гроб опустили в могилу, сын Фофанова, поэт-футурист, живой портрет отца, — вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, провел по лбу рукой, откинул выше голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал:

"Наш Фофан в землю вкопан…"

И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его увозили, отбивался и выкрикивал что-то о мраморной мухе…

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону.

Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик "Финского пароходства", возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса. Или идти в обход через Троицкий?

Нет, ждать скучно, а в обход — далеко. Проезжавший мимо «Ванька» — видя мою беспомощность, запросил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно хлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, "в сиянии и безмолвьи белой ночи". Белые ночи, конечно, — хороши, и эта была хороша особенно, — но я посмотрел вокруг на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо — почти с отвращением. Пойду в обход, — решил я. Может быть, встречу извозчика. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома…

Но идти в обход не пришлось. Пройдя несколько шагов, я увидел свет, услышал голоса и звон стаканов. «Поплавок» — излюбленное место мечтательных пьяниц — был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному Ваньке, нашлось употребление более целесообразное.

…Народу было немного, человек десять-двенадцать, но по их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что они — публика солидная, сидят здесь долго, выпили много и еще выпьют.

Человек шесть сидели компанией в углу. Оттуда слышался дурацкий смех и обрывки нецензурных анекдотов. Остальные, поодиночке, мрачно, — тем мрачнее, чем больше пивных бутылок стояло под столом опорожненными. Как известно, опьянение пивом — торжественное и унылое. "Bi re gaie"["Веселое пиво" (фр.)] не бывает — оно всегда "triste"[Печальное (фр.)].

Лакей, похожий на бабу, хлопнув только что меня не по носу грязной салфеткой, спросил, чего я желаю. Я «пожелал» нарзану и ветчины, на его изумление. Вернувшись из буфета, он принес мне кусок семги, буркнув, что "говядина вся вышла". И мне волей-неволей пришлось оставить оригинальничанье и спросить, как и все, пива: семга с нарзаном — выходило как-то странно…

Я сидел, прихлебывая тепловатое Калинкинское пиво и "наблюдал".

Наблюдать, впрочем, было мало чего. Картина не менялась.

Веселая компания в углу икала и фыркала все менее оживленно, понемногу соловея. Остальные сидели молча, мрачно. Изредка кто-нибудь нетвердым и негромким голосом что-нибудь требовал, иногда то там, то здесь слышалось всхрапыванье… Вода тяжело и глухо, особенным "полночным плеском" ударяла о баржи, на которых был поплавок утвержден. Совсем посветлело. «Перевоз», которого я поджидал, пыхтя подплыл к соседней пристани, подавая тощие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться и уйти. Но… тут на «палубе» появился новый посетитель.

Вид его заинтересовал меня.

Небольшой рост. Длинные волосы. Коренастые плечи. Пальто до полу, явно с чужого плеча. Когда-то оно было коричневым и франтовским — теперь швы побелели, края оббились, окраска выгорела и стала местами зеленоватая, местами модного цвета «танго». Притом фасон пальто редингот и талия нынешнего владельца вершков на пять ниже, чем талия того, на чью фигуру пальто было шито. На шее что-то намотано в несколько рядов, в руках трость с вычурнейшим набалдашником, на голове цилиндр. И — еще — в петлице редингота какая-то пышная розетка, вроде котильонного ордена.

Он вошел тяжело, тяжело опираясь на свою трость. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею — тот принес ему сразу полдюжины Калинкинского… Посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся точно от отвращения. Потом обвел вокруг прищуренными, мутными глазами. Когда, на секунду, я попал в "поле его зрения", пришла моя очередь вздрогнуть:

…Должно быть, сквозь свинцовый мрак,
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так…

Или… или еще животное, под ножом мясника, так озирается, — бессмысленно и страшно…

…"Перевоз", жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Посетители мало-помалу, тяжело волоча ноги, — расходились… Вот уже и мост наводят — пора… не любоваться же всю ночь на этого пьяницу.

Но когда я совсем собрался уходить — человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотанья удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался…

Et pourtant vous serez semblable cette ordure,
A cette horrible infection…[x]
[x] Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья… (фр.). — Пер. С. Петрова.

Странный человек в рединготе с чужого плеча перед батареей Калинкинского, на заплеванном «поплавке», читал "Une Charogne"[«Падаль» (фр.)] Бодлера.

…Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion…[x]
[x] Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя… (фр.). — Пер. С.Петрова.

Вдруг он оборвал чтение и выпрямился гордо, как мне показалось. Он снова огляделся кругом. И — в самом деле — в его взгляде, кроме «того», заставившего меня вздрогнуть ("это" осталось), — была какая-то ядовитая надменность.

— …Вы… — он сделал тяжелый пьяный жест. — Вы… все… — он снова махнул неслушающейся рукой — бутылка опрокинулась и пиво, булькая, потекло в Неву. — Вы… буржуи… сволочь… сидите и не чувствуете… —

Он погрозил пальцем «буржуям» — в том числе и мне. — Вы… — еще жест, на этот раз упал и разбился стакан… — Сидите и не видите…

Он помолчал и провозгласил торжественно:

— Валерий Яковлевич стоит на том берегу.

Помолчав еще — добавил:

— Вон там… У Петропавловки…

И, нагнувшись вперед, всматриваясь в противоположный берег:

— Идет по водам… Валерий Яковлевич Брюсов — идет по водам. Но не к вам, а ко мне!

Он встал во весь рост и шагнул к парапету навстречу "идущему по водам" Брюсову. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Лакей с бабьим лицом, выйдя из сонного состояния, подбежал к пьянице в рединготе и довольно непочтительно схватил его за плечо. — "Скандалить не…" — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить…

На крик слуги вбежал грузный краснорожий хозяин. Ему полетела в голову бутылка…

Как ни любопытно было мне наблюдать еще, я все же поспешил к выходу, благо он был свободен. У самого моего уха,

как ядро, разлетелась новая бутылка. Я — "ускорил шаги". На шум с поплавка уже перебегал наискось набережную усатый городовой. В общем реве побоища — голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, надрываясь, визжал:

— Тронуть… меня… члена союза Михаила Архангела… который в высочайшем присутствии… Меня! Не подходи — убью!..

x x x

Среди множества литературных обществ довоенного Петербурга было и такое — "Физа".

Название это не расшифровывалось — как подобные ему советские. «Физа» не значило "филологический институт звукового анализа" или что-нибудь в этом роде. Физой звался герой поэмы — очень бездарной и очень пышной — прочитанной одним из членов-учредителей этого общества в день его открытия.

С тех пор, как ни досадовали учредившие «Физу» эстеты, никто не называл ее ее настоящим именем. "Идем в «Физу», "Вы были в "Физе"? — иначе не говорили. Теперь я уж и не помню, как «Физа» называлась "по-настоящему".

Над «Физой» все смеялись — но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было бы и не слушать — коротая время в комфортабельной столовой за бесплатными сандвичами и даровым портвейном.

Кузмин говорил, что ходит на литературные сборища из-за антрактов — людей посмотреть и себя показать. Заседания «Физы» были сплошной антракт, да еще с портвейном. И на еженедельных собраниях на Сергиевской всегда было многолюдно.

На одном из таких собраний — я сидел, по обыкновению, в столовой.

Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил, и на мгновение до меня донесся звук голоса — странного, царапающего, знакомого мне.

Знакомого. Но где же я его слышал?

…Валерий Яковлевич идет по водам…

…Etoile de mes yeux, soleil de ma nature…

…Меня! Члена союза Михаила Архангела. Убью!..

А… Вот что.

…На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой знакомый с поплавка. Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел несколько старомодный, но вполне обыкновенный «буржуазный» вид. Когда я вошел в залу, он только что кончил стихотворение.

Ему достойно похлопали — он достойно раскланялся.

Да тот ли это?

Но вот он снова стал читать, и, услышав голос, нельзя было сомневаться.

Он, конечно. Читал он какую-то благопристойную модернистскую чушь, стилизованное что-то:

…О Тукультипалишера.
О царь царей, о свет морей…

И эстетической благонравной публике «Физы» нравилось, по-видимому, — "высокий стиль" здесь особенно ценили.

— Кто это, — спросил я у Анрепа, того самого, в чьей поэме Физой звался герой.

Анреп, лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением.

— Вы не знаете? Это Одинокий, известный поэт и критик. Ну, «Весы», "Золотое Руно" — книга стихов издана «Грифом». Не правда ли, прекрасные стихи?

Имя Одинокого я слышал, конечно. И уважение Анрепа к его поэзии отчасти разделял, — это было вполне почтенное и не бездарное имя «средней» эпохи русского московского декадентства… Но…

…Он какая-то темная личность, союзник, скандалист.

Анреп замахал на меня руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э… э… э… светлая голова. Мы специально его пригласили — в следующую субботу он прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э… э… э… ассириологии… Удивительный человек. И откуда вы взяли, что он союзник…

Напротив, он, кажется, э… э… э… в связи с революционерами…

В течение вечера я наблюдал Одинокого издали. Он держался все больше в окружении эстетических дам и пишущих стихи камер-юнкеров — хозяев «Физы», держался скромно, грустно и достойно. Уходя с собрания, я видел, как Анреп усаживал моего скандалиста с поплавка, под локоток, в свою щегольскую карету.

x x x

Я встречал Одинокого несколько раз то там, то здесь. Все такой же — скромный, тихий, от вина отказывается, очи держит долу. Встречал я его почти исключительно в домах богатых "любителей поэзии", каких много водилось в прежние времена в Петербурге.

…О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей…

читал он вкрадчиво и нараспев.

— Александр Иванович, выпейте вина.

— Благодарствуйте, не пью — сердце слабое. — И снова стихи, очи вниз, тихий голос, мягкие движения, долгие разговоры на запутанные и ученые темы.

…В Каббале говорится…

…Древние гностики считали…

…О Тукультипалишера…

— Не подходи — убью… — вспоминал я при этом, и мне очень хотелось ввернуть как-нибудь в эту важную беседу что-нибудь из моих наблюдений на «поплавке». Я искал случая. Наконец, он представился.

Часа в три ночи в один из тихих дней "Бродячей Собаки", таких дней, когда публики "со стороны" мало, "свои люди" сидят особняком по углам за взятым на книжку вином, о публике не заботясь, электричество из экономии притушено, и даже Пронин, неутомимый директор «Собаки», — устал и спит в чулане за кухней, — в одну из таких "будних ночей", когда сидишь в этом подвале неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино, — и все кругом выглядит чуть-чуть таинственно, — входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал. Пришел Одинокий.

…Он был пьян — это было сразу видно. Не так, как тогда на «поплавке» — на ногах он держался твердо и в глазах не было дикого выражения той ночи — они хитренько щурились, как обыкновенно. Но все-таки он был сильно пьян — это было видно по всему — по усмешке, походке, движениям…

Предлога заговорить с ним мне не пришлось выдумывать. Он, потоптавшись у двери, — сел рядом со мной у камина. Мы поздоровались. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он щелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте, — отстранил он стакан, который я было ему придвинул. — Благодарствуйте — не пью этих напитков.

Душа не принимает, да и…

— Сердце слабое, — подсказал я.

— Именно — слабое, — он поглядел на меня, и что-то от того взгляда мелькнуло в его «хитреньких» глазах. — Правильно сказали. Слабое сердце.

Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие…

Впрочем, это уж метафизика, так что поставил точку. Но от рислингов этих — не только сердце, а и хуже — живот у меня болит. Если уж выпить за компанию, то выпью я лучше…

Он закричал в буфет — "эй, водки".

Мы помолчали. Потом я сказал, не зная, как начать интересующий меня разговор.

— А я вас встречал еще до знакомства с вами. — Он насторожился как-то.

— Встречали? Где это? По редакциям где-нибудь?

— Нет. Весной этого года. На поплавке. Еще вы Бодлера читали, помните?

— А, вот где. Припоминаю, как же. Пьян был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато редко, да метко. Вы что же… — он прищурился, — долго тогда сидели?

— Ушел, когда стали летать бутылки, — за голову боялся. После жалел.

— Чего же жалели?

Я нанес "решительный удар".

— Жалел, что не досмотрел до конца. Кто победил и… и помог ли вам Михаил Архангел?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник — внешне, по крайней мере, — остался невозмутимым. Только глазки прищурились еще сильней…

— Пустяки все это, — сказал он, — и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду… или я разбил — не все ли равно? Не согласны? Это в вас младая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать… А насчет хотя бы Михаила Архангела — это вопрос не такой простой, как вам кажется.

Вы вот, — признайтесь, — думаете: припер я этого Одинокого к стенке, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете нет? Ан припру…

Впрочем, и это пустые разговоры. И место здесь неподходящее — вот барыня в углу, видите, уже глаза на нас

пучит, интересуется, — и я, хоть и пьян, а недостаточно. Вы поймайте меня совсем пьяненького, как тогда на поплавке. Тогда другой между нами разговор пойдет… И в другом свете тогда вам Тиняков представится. А это пустое: я в морду, мне в морду…

— Книжку вашу обещали прислать, так не забудьте прислать, — переменил он разговор. — Вот адресок мой, — он протянул мне скверную визитную карточку. — Не забудьте.

— Я не знал до сих пор вашей фамилии, псевдоним только.

— А теперь, когда фамилию мою знаете, еще чудней обо мне будете думать?

— Я в первый раз ее слышу.

— Будто? — протянул он недоверчиво. — Наша фамилия знаменитая.

Особенно в Сибири. Дед мой девять человек топором уложил.

x x x

— Я с вами объясниться хочу. Надо мне с вами объясниться. А почему — держу пари — не догадаетесь…

Восковая свечка оплывает в горлышке пивной бутылки. В комнате полутемно. Железная печка докрасна натоплена. В углу в свете маленькой лампадки поблескивают оклады икон.

— А почему — держу пари — не догадаетесь…

Я через неделю после разговора с Тиняковым-Одиноким получил от него записку. "Прошу приехать по неотложному делу". «Неотложному» было жирно подчеркнуто. Какое такое дело? Не денег ли он собирается просить, вообразив, что я богат?

Я поехал. Уж одно — посмотреть, как живет этот знаток Бодлера, член союза Михаила Архангела и "внук своего деда", — было любопытно. А может быть, он и разговорится.

Оказалось, он и позвал меня, чтобы поговорить.

— Надо объясниться. А почему…

Почему, в самом деле?

Ветер с Охты (Одинокий живет на глухой Калашниковской набережной, едва я разыскал его мрачный деревянный дом), ветер ударяет в стекла так, что они дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает. На камчатной пестрой скатерти — водка, хлеб, закуска…

Одинокий отхлебывает из чайного стакана и морщится.

— Угощайтесь, прошу. Вот и кисленькое, для вас специально, если не хотите казенной. Да, так почему я хочу с вами

объясниться?..

— Думаете — оправдываться хочу, обелиться перед вами, чтобы дальше не пошло. Мол — союзник Тиняков и еще скрывает. Подозрительный человек.

Остерегаться надо такого. Из литературы исключить. Остракизму подвергнуть.

А? Так?

— Нет-с, не так! Мне плевать! И на остракизм, и на литературу. На все.

Хочу скрываю — хочу не скрываю. Сегодня в архангелах, а завтра царя убью.

Захотелось — пошел и убил. А что о мне думают — плевать. Это я о себе написал:

…Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать…
Скользким боком прижиматься…

Он щурится, морщась, проглатывает водку и говорит важно:

— А объяснюсь я с вами потому, что вы друг Валерия Яковлевича Брюсова, следовательно, и мой.

— Какой друг? Я даже не знаком с Брюсовым.

Но Одинокий не слушает.

— Друг Брюсова — мой друг. В каком смысле надо понимать друг? — выговаривает он со строгостью. — В том смысле, в каком тварь, солнцем питаемая, — друг ему. Брюсов — солнце, мы твари…

Преподобный Валерий,

Моли Бога о нас…

затягивает он на церковный лад. Понимаете теперь, зачем я позвал вас?

Я хочу сказать, что не понимаю — но к чему говорить. Он пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится на сторону, глаза дикие.

— Что ж ты не пьешь? — переходит он на ты. — Пей, брат, водка хорошая — царская. Царской водкой зовут самую страшную кислоту, которая прожигает железо, камень, все. В алмазных банках ее хранят — только алмаза не берет. И это вот тоже царская — все зальет, все сожжет…

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может. Стыд — без остатка, совесть — точно и нет никакой, честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз.

Ничего ей не делается. Стоит в груди и не тает…

— Хотите стихи прочту, — вдруг спрашивает он. — Настоящие стихи, не те, что читаю буржуям…

О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей, —

передразнивает он сам себя… Нет, не это. Те, что для себя пишу:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит…

…А тут, — берет он меня за рукав, — тут самое главное. Иконостас Одинокого. Поближе подойдите. Вот…

При свете огарка иконы, которыми увешан угол, видны ясней. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой… Первую минуту я не понимаю, в чем дело…

Одинокий подносит огарок еще ближе: в середине под темным окладом выступают черты врубелевского Брюсова, рядом Бодлер, Ницше, какая-то дама…

Вперемежку с ними настоящие иконы.

Отвращение, которое, должно быть, отражается на моем лице, доставляет хозяину живейшее удовольствие. Хитренькая улыбочка расплывается шире, делается медовой.

— Дамочка с муфтой, — поясняет он, — Блаватская, теософка. А старичок налево — рядом с преподобным Серафимом Саровским — дед мой, блаженной памяти Аристарх Тиняков. Тот самый-с… На каторге снят…

x x x

Еще до войны — Одинокий пропал куда-то: оказалось, что он сотрудничает одновременно под разными псевдонимами — в

«Земщине» и одной очень либеральной и уважаемой газете. Это раскрылось… Только в 1920 году он снова появился в Петербурге. Вид он имел грязный, оборванный, небритый.

Никого не интересовало, откуда он взялся и чем занимается.

Однажды он зашел в Дом искусства к своему старому знакомому писателю Г.

Поговорили о том, о сем и перешли на политику. Одинокий спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думал.

— А, вот как, — сказал Одинокий. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти? Не ожидал! Хотя мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск…

И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных Ч. К.